

**С. Кржижановский**

**Салыр-гюль**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
С11

С11 **С. Кржижановский**  
Салыр-гюль / С. Кржижановский – М.: Книга по Требованию, 2014. – 60 с.

**ISBN 978-5-4241-3507-1**

**ISBN 978-5-4241-3507-1**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2014  
© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2014  
© С. Кржижановский, 2014

Сигизмунд Доминикович  
Кржижановский  
Салыр-гюль  
(Узбекистанские импресии)



# I

## ОКНО

Уже несколько часов, как мы оставили позади закат. Помню ныряющий в ночь каменный контур Оренбурга: вертикали минаретов, отряхающие с себя плоский -из казарм и складов город.

Сейчас ночь. Сон не идёт ко мне. Приходится довольствоваться суррогатом сновидения: мыслью.

Между учебником логики и железнодорожным путеводителем, между мышлением и путешествием есть несомненное сходство. Мышление – это передвижение образов в голове. Путешествие – передвижение головы мимо сменяющихся образов. Переставив термины, можно сказать: странствовать – значит мыслить объектами; думать – странствовать в себе самом.

Аэродинамическое испытание лётной модели основано на том, что совершенно безразлично – движется ли самолёт сквозь среду, преодолевая её сопротивление, или же среда движется на самолёт. Поэтому, закрепив модель неподвижно внутри особой трубы, гонят на неё вращающимися лопастями ток воздуха. Это – полёт на месте.

Что я делаю сейчас? Прогоняю пространство через мозг. Но как только окна перестанут быть чёрными, утлая модель заскользит – вместе с поездом – по рельсовым нитям: внутричерепное превратится в заоконное.

Время гораздо настойчивее пространства. Тоненькая секундная стрелка толкает весь массив жизни вперёд и вперёд. Воспротивиться ей – то же, что умереть. Тяга пространства гораздо слабее. Пространство терпит бытие мягких, приглашающих в неподвижность кресел, ночные туфли, походку с развалкой. Бесконечное пространство столь терпеливо, что переносит даже человеческую усидчивость. Время – сангвиник, пространство – флегматик; время ни на долю секунды не приседает, оно живёт на ходу, пространство же – как его обычно описывают – «разлеглось» за горизонтным увальнем; оно спит, подложив горы под голову и растянувшись своей беспредельной протяжённостью на песке и травах наших степей. Его надо растолкать, разбудить паровозными свистками, – и только тогда оно начинает медленно и неохотно приходить в движение. И вот сейчас – я ясно ощущаю – пространство на ходу; оно идёт, еле поспевая за семенившей стрелкой секунд; оно шагает, медленно переставляя невидимые пейзажи. Теперь оно даже стало слегка похоже на своего спутника, у них есть право на некое space time [1]. И когда рассветёт...

Но я уже смутно различаю фигуры, растянувшиеся на соседних полках. Не пора ли переключиться на законный лад?

Встаю и прохожу меж спящих. Да, если чиркать головой, как головкой спички, вот об это чёрно-серое пространство, она вспыхивает. И смешной образ: эти люди разложены в вагонной коробке, как...

Я уже в тамбуре, недалеко от тимпанных ударов буферов о буфера. Взявшись за ремни, толкаю оконную раму сперва вверх, потом книзу. Рама скрипит и упирается, затем медленно оползает внутрь стены. В лицо сухой и пряный ветер казахстанской степи. Поезд ещё спит. Я, вероятно, первый открыл своё окно...

## ЧЕЛКАР

Рельсовый путь выбирает культурную полосу. Он сторонится песков и безводья пустыни. Его паровозам нужно пить воду. Верхнее строение пути должно иметь прочный упор и защиту от песчаных наносов. Поэтому справа то и дело показывается изжелта-синий извив Сырдарьи и по обе стороны полотна, среди никлых солянок и землисто-зелёной верблюжьей колючки, стелющейся меж почвенных щелей, вспыхивают красные заросли мыльного корня и какой-то довольно яркой, метёлками из земли торчащей травы, до странности похожей по форме на метелковидные реденькие бородки местного мужского населения. Пустыня отгеснена за горизонт. И только? У станции Челкар ей разрешено вклиниться в культурную зону на какой-нибудь получас пути. Это, так сказать, показательная пустыня, небольшой отрез голого, избарханенного песка – и глазам надо торопиться: было бы досадно выйти из промелька пустыни с пустыми зрачками.

Итак, что же я видел за мой челкарский получас: песчаное море, показанное с выключением времени – валы остановились в полной неподвижности; медленно выкругившийся из-за всхолмия белесый солончак; посредине его, точно терракотовая фигурка, поставленная на блюде, неподвижный контур верблюда; заходящие в обход вторгшейся пустыне реденькие цепи кустарников, напоминающие цепи стрелков, атакующих противника. И это немного больше, чем метафора. Всей этой прогибающейся к земле чахлой поросли дано боевое задание: остановить барханы. Цепь за цепью, кусты взбегают на гребень, берутся за корни, как за руки, напруживают стебли, – и пустыня отступает вспять.

## ПОЛУСТАНКИ

Что делают пассажиры поезда Москва – Андижан?

Во-первых – они едят. И во-вторых. И в-третьих: едят. Они возят с собой свои желудки, как раньше – в мешочное время – возили мешки. И навстречу желудкам Восток выставил аванпостные базары. И на каждой станции, полустанке, разъезде – полукруг лотков со всяческого рода снедью. Это клочок настоящего азиатского базара, с его криком, зазыванием, пестротой цветов и звуков.

Чуть поезд начинает замедлять ход, всё человеческое содержимое вагонов теснится к дверям и сыплется со ступенек навстречу жаровням, сковородам, корзинам, бутылкам, кувшинам и пиалам базара. Пиджаки и халаты смешиваются в одну шумно роящуюся толпу. Свисток паровоза – и пиджаки, охватывая обеими руками грудь накупленного, догоняют тронувшиеся вагонные ступени. Сквозь взволнованное бегом дыхание быстрый размен словами: яйца на два рубля дешевле московских – надо купить; но и рыба втрое дешевле столичного – значит, и рыбу; арбуз – в десять раз. Надо вкатить в себя и арбуз. Под Ташкентом ведро яблок – два целковых. Не потому ли следующая станция за Ташкентом называется: Ташнит?

Можно бы весь шестидневный путь от Москвы до Самарканда разбить на гастрозоны: сперва яично-молочная зона, потом – при приближении к Аралу – рыба, баранья и, наконец, плодовая.

Как-то, уснув среди дня удавим сном после заглотанной мною дыни, я

увидел во сне такое: очередь желудков, эмансипировавшихся от тел; очередь тянулась вдоль стены и заворачивалась за угол. Желудки стояли друг за дружкой, подоткнутые тонкими вилкообразными ножками. Одни из них были вздутые и огромные – они лезли вперёд, тычась своими вспучьями в соседей и разрывая очередь. Другие дрябло обвисали со своих подгибающихся развилий, робко налипая на впереди стоящих. Вдоль очереди перекатывалось глухое бурчание: «живая очередь» – граждане желудки, не будьте брюхами, хватит всем, на всё *ем*».

#### НА РУКОВОДЯЩЕМ ПОДЪЁМЕ

Я люблю точную железнодорожную терминологию: «руководящий подъём» – «вписывание в кривую». Можно бы ввести их в литературу. Впрочем, иные и пробовали. Так, некий очеркист о так называемом тормозном башмаке тотчас же сочинил рассказ о герое-проводнике. На подъёме от состава оторвался задний вагон. Он катится вниз, набирая скорость и грозя катастрофой. Но проводник не растерялся: он расшнуровывает сперва свой левый башмак, потом правый и швыряет их – один за другим – под колёса. Проводник героически бос, но вагон остановлен на полном ходу и полсотни жизней спасены.

Итак, мы сейчас берём подъём. В два паровоза. Оси надсадно скрипят. Оба медленно сматывают с себя метры. Над нами зенитное солнце. Кроме ромбических теней от наших вагонов, повсюду только солнце.

В стороне от полотна – шагах в сорока – несколько голых согнутых спин. Над их потными разблесками взлетают и падают кирки. Вдруг один из рабочих разогнулся и бежит наперерез поезду. Я не сразу понимаю, что ему нужно. Но вот он настиг скользящую по земле вагонную тень и – движением пловца – бросается в неё. Длинная членистая тень глядящим движением движется по его телу. Вот грудь купальщика полоснуло солнечной межвагонной щелью, опять холодный чёрный ромб, и ещё щель – ромб – щель; последний вагон прошёл, волоча за собой плёнку тени, – и человек снова стоит один, под раскалённым солнцем, беззвучно рушащимся на беззащитную – от горизонта – до горизонта – землю.

Этот малый случай напоминает что-то не столь уже малое: допустим, жизнь.

#### ПОСТРОЙКА ПЕЙЗАЖЕЙ

Жара всё длится. Хотя на станциях и чернеют стрелы с надписью «к кипятильнику», но кипятильник, в сущности, повсюду, весь воздух перегрет и перекипячен. Телеграфный столб пьёт этот синий кипяток сразу всеми двадцатью фарфоровыми стаканцами. Впрочем, здесь надо говорить: фарфоровыми телеграфными пиалами. И библейский стих: «да минет меня чаша сия» – здесь тоже получает лексическое подновление: «да минет меня пиала сия».

– Нет, это невыносимо, – говорит пассажир, сидящий на боковой скамье, – опять пейзаж.

В руках у него тощая книжонка с бахромчатыми, прорванными пальцем полями.

– Возмутительно. Следовало бы запретить вокзальным киоскам продавать книжки с пейзажной начинкой!

– Почему?

– Очень просто. Когда человеку осточертеет пейзажирующая природа, он

берёт книгу, прячет глаза от принудительного ассортимента видов меж её страниц – и вдруг и из книги, как из окна, пейзаж: ловушка. Здесь ничего. А вот помню как-то на линии Батум – Тифлис. Всё время холмы, зубчатые башни, Кура и опять холмы и на них башни и снова Кура. Раскрываю – самозащиты ради – книгу, а оттуда: «Солнце освещало живописно раскинувшиеся холмы. Лента реки, медлительно извиваясь меж...» Оставалось вышвырнуть книгу в окно и попробовать заснуть: после двенадцати часов сна. Здесь, в Средней Азии, много легче. Люблю эту дорогу. Вагонные рамы не лезут в картинные – и никаких лендскэйпов.

– То есть как это никаких. А это?

– А так. Места под пейзаж сколько угодно. А пейзажа: хоть шаром покати – и шар, без всяких иносказательностей, не наткнётся на холм и не скатится в реку. Вот. Поднос для пейзажей гигантский, в горизонтовой кайме. А на подносе ничего, кроме его поверхности. Ну, те три юрты не в счёт. В этой перспективе они и за кротовьи всхолмья сойдут. Эти не портят... пейзажем. Хорошая дорога. Чуть отпуск, я всегда сюда – и качусь, как по бильярду.

– Ну, скоро вам, товарищ, придётся в лузу, – раздался внезапно голос из-под потолка.

Человек, лежавший на полке для вещей, очевидно, ещё не вошёл в роль вещи и раздельно бросал слово вслед слову вниз:

– Да, придётся вам или приобрести наглазники, или разрешить обеспокоить ваше зрение.

– Почему это?

– Потому что мы здесь скоро начнём стройку пейзажа. Да, нового географического пейзажа. Оросительная сеть, еле доходящая сейчас до Кызыл-Орды, вскоре протянет свои петли к северу. По краям арыков, там, где сейчас вот эта дарана, вода вытянет из земли иву, фисташки и тополь. Вот уж вам и нечто вроде пейзажа. Устья Амударьи мы оторвём от Арала. На месте гнилого болота станут города, а вокруг них прямоугольные поля хлопка и риса. Куда мы пришьём устье, – спрашиваете вы? О, придётся проволочить его более тысячи километров на запад. И пришьём мы его к Каспийскому морю. Что это значит? А это значит, что садитесь – на пароход в Москве и поезжайте без пересадок до предгорий Памира. По пути обеспечено много множество пейзажей. Вас, вероятно, не будет среди пассажиров.

#### БУФЕРНАЯ СЦЕПКА

Ташкент уже позади. Стучат стыки. Луна светит ярко, точно солнце под синим абажуром. Я вышел в тамбур на минуту-другую, чтобы после пополнить запасы сна перед Самаркандом, но очень уж не хочется назад, в духоту вагона. Тем более что за окном начинает вырастать «пейзаж». Это неоспоримый пейзаж. В нём бы не усумнился даже пассажир с боковой полки. Но он, вероятно, уже спит.

Мы едем долиной Санзара. Слева и справа фантастически взгорбленные холмы. Рельсовым путём пейзаж как бы разрезан на две продольных половины. Слева раскрывается его лирическая часть: мягкие склоны, пригибающиеся порой к водам Санзара; кupy деревьев и выныривающие из воды островки; лёгкий прыжок моста от берега к берегу. Правая часть пейзажа драматизирована: Санзар отодвинулся от неё по ту сторону полотна; здесь только вертикальные каменные

стены, осыпи камней и прыгающая, как кривая температуры малярика линия вершин.

Это здесь, на одном из этих склонов врезана древняя арабская надпись.

Вскоре поезд выходит сквозь широко раскрытые ворота ущелья на равнину. Он идёт по выгибающейся гигантским луком насыпи. По склону её движется вырезанное чёрными ножницами черное и плоское подобие поездной гусеницы. Лунная модель сделана с такой точностью, что я вижу даже очертания буферных тарелок нашего вагона и свесь цепи, качающейся меж них. В чёрном схематическом упрощении я различаю деталь, ускользавшую от меня при свете дня: два трущихся друг о друга буфера неодинаковы – один мягкой выгибью выдаётся вперёд, другой – абсолютно плоский; и между обоими сглаживающий толчки и сам взятый на цепь – зазор.

И кто знает, может быть, эту увеличенную лучом схему можно доувеличить так: может, самое жизнеспособное соединение – это соединение выдающегося, изрядовонного с плоским, вмещающимся целиком на своей же поверхности. Разумеется, при условии некоторого зазора. Не в зазор мне будь сказано.

Ещё станция или две. Теперь уже поздно ложиться: скоро, город. Провожу рукой по щеке: шестидневная щетина. Голая до того земля тоже начала куститься. Кусты переходят в заросли. Вкруг зарослей здесь и там – белый обвод стены. Это начались присамаркандские сады.

## II

### «ХАРИФ МЫСЛИ»

Поезд бросил меня в самую середину ночи и ушёл. В станционном зале засиженная мухами скука. С дорожным мешком через плечо иду, как диктует указка: выход в город.

Но до города семь километров. Как быть? Невдалеке, куда кое-как дотягиваются лучи вокзальных огней, какой-то тёмный короб. Из-под короба человечьи ноги. Починка захромавшего автобуса. Вскоре внутри его появляются: гудение и свет.

Решаю ехать. На ночное свидание с Регистаном.

Вскрик сирены, и жёлтые огни мчащихся фонарей начинают прорывать голубоватую тонкую сеть луны. По краям шоссе бегут карликовые домики. Справа и слева наклоняются, припудренные пылью, лиственные парики деревьев. Несколько крутых дезориентирующих поворотов, потом скат, вкат – и авто тушит огни. Регистан.

Две небольших площади – как два форельных пруда – со стекающими из верхней в нижнюю ступеньками. Иду, как влечёт меня течение ступеней. Вот они – три древних каменных громады, ставших по трём краям прямоугольной площади: медресе Улугбега, Тилля-кари, Шир-дор. Наконец-то я их вижу не со страниц книги, а с земли Маверраанагре. Их изразцы и сейчас – при притушенном свете луны – отливают рыбой чешуёй. Минаретовые реки Улуга – широким архитектурным жестом – протянуты вверх. Каменные кулаки их сжаты. Простоять так пять веков, не меняя позы, согласиться... Но даже и сейчас видно, хотя бы по тени, что минареты этой медресе чуть наклонены вперёд. Может быть, это усталость камня, а может быть, замысел строителя, который заранее, предвидя долгую жизнь медресе, построил ему и усталость от неё.

Кстати, надо всё-таки отыскать пристанище. Где-то тут под входной аркой Тилля-кари база ОПТЭ. Но сейчас все двери наглухо. Два пополудни. Возвращаюсь на верхнюю площадь. Она в окружении смутных – за расфрамуженными стёклами – огней. Подхожу, волоча рюкзак, к одному из них. Вывеска: Късьл Сај-хапа.

Под вывеской, за стеклом, точно в витрине, выставка манекенов-посетителей чайханы. Посетители не из воска и бумаги, а из крови и плоти. Но они разложены – в манекенной неподвижности на уступах внутrichайханного помоста.

Прохожу по деревянным мосткам через шепелявый арычок, в переулок, ответвляющийся от площади. И здесь. За столбами навеса, под мягким светом лампы, укутанные в жёлтые блики, лежат экспонаты чайханы, очевидно, к полуночи превращающейся в ночлежку. Вероятно, это грошовое заведение, но сейчас, когда шёлковый свет и ночь смешали свои краски, нельзя различить, истёрты ли ковры чайханного приюта и грязны или новы, целы или рваны халаты спящих. Пёстрая гряда тел, чалмы, вдавленные в чёрно-красную орнаменту подушек, смутные узоры ковров, подостланных под спутанный – дыханиями и видениями – клубок снов, купленных за медь тинов – всё это кажется какой-то искусно срежиссированной феерией, живой картиной, рассчитанной на тысячеглазый

зрительный зал и аншлаг. И мне, единственному, видящему сейчас это, даже неловко. Что можно тут поделывать, располагая всего лишь парой глаз. Из-за гигантского самовара, тоже спящего с потушенными углями и понуренной трубой, неслышно приподнимается хозяин ночлежки. Он предлагает мне место на нижнем уступе. Но я отхожу: главное схвачено, а дополнительные подробности, в виде укусов вшей, не обязательны. Возвращаюсь на площадь. Мешок оттягивает руку. Позволяю ему опуститься наземь и сам сажусь поверх. Буду ждать зари. Как ждут поезда.

Прямо против глаз спиной к луне стоящая Шир-дор: прямоугольные плечи питаба, голова под рубчатой каменной чалмой; позади, чуть отступив в перспективу, две башни.

Книги – удивительная вещь: они помогают нам вспоминать о том, чего ещё не было. Так сейчас, глядя на верхний край питаба, я даже не могу различить очертаний старой персидской надписи, но уже вспоминаю её, – слово вслед слову:

«...и такое медресе соорудил он на земле, что та возгордилась его высотой перед небом: и в несколько лет не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев; даже череда карнов (поколений, веков) – слишком малый срок, чтобы искуснейший хариф (вор мыслей), забрасывающий свою верёвку с крюком на конце на стены домов, смог забраться на вершину этих башен. Когда зодчий выгнул свод этой арки, то само небо, исполнившись удивления, прикусило свою новую луну, как палец.

И так как Ялангуш-Бахадур был основателем медресе, то год постройки его назван именем Ялангуша-Бахадура».

Кажется, так. А теперь, пока ночь не израсходовала всей своей тьмы, попробую (всё равно, сидя на мешке, не уснёшь) прокомментировать тёмные места надписи.

Начну с конца. То, что год и строитель оказались тёзками, уже освещено историографами. Попросту каждая персидская буква имеет и цифровой смысл: сложив буквы как слагаемые, получим сумму: тысяча двадцать какой-то год -по-нашему, начало XVII века.

Что касается до неба и его способности удивляться, то она, очевидно, не исчерпана: каждый раз, завидев при блеске своего новолунного пальца башни Шир-дора, оно снова прикусывает его, и палец-луна неизменно пухнет, вспучивается синим нарывом, пока его – на четвёртой фазе – не прорвёт.

Слова о харифе, искусном воре, пытающемся забросить свой крюк на вершину Шир-дора, очень внушающи. Работать ему, конечно, удобнее всего по ночам. Так что сейчас как раз время, спрятавшись в длинной тени медресе, в полном безлюдье, разматывать свою воровскую лестницу.

Бедный хариф, он, как и я, зябнет теперь и не спит у тёмного срыва питаба. Может быть, ему удавалось иной раз добраться вот до этого арочного выступа, но южные ночи короче верёвки вора. Утро, будящее стражу, конечно, прогоняло ширдорского харифа, пока с наступлением ночи он снова мог приняться за свою работу.

Надпись говорит о карнах – о поколениях – харифского труда. Значит, вор передавал свой замысел сыну, а тот сыну сына харифа. Чего они добивались, эти поколения похитителей? Что можно украсть, забравшись на каменную крышу

громады? Допустим, можно прикарманить широкий кругозор, открывающийся сверху вместе с рассветом. Но зачем? Чтобы тотчас же быть изловленным на кругозоре, как иные изловлены на мирозерцании. Глупый вор, вздумавший выкрасть себя самого, свою личность: вот ты и пойман с поличным. Так и надо.

А как надо?

Прежде всего – и вор, выдуманный древней надписью, должен это запомнить – не следует быть «искусным»... для искусств. Вот, например, нынешние ташкентские вокзальные воры тоже пользуются, формально следуя традициям харифа, верёвкой с крючком на конце. Но забрасывают свой крюк они не искусства ради, а во имя идей утилитаризма.

Кстати, пора блюсти точность комментария. Ялагнтушевская надпись к родовому понятию харифата не забывает прибавить видовой признак. Она говорит о «воре мыслей». Есть и такие у нас. Мы их называем плагиаторами. Но работают они совершенно в иной технике. Зачем взбираться на высоты похищаемого, когда можно под него подкопаться, пролезть в смыслы снизу. Да, завтра надо будет непременно пойти в Биби-ханум, там, во внутреннем дворе – я читал – хранится каменный гигантский попитр для Корана (ещё тимуритских времен). Бесплодные женщины протискиваются в щель меж камнем попитра и землёй. Это, говорят, способствует зачатию. Не знаю, насколько лазейка под каменным попитром оправдывает чаяния верящих в приметы узбечек. Но плагиаторам это помогает. Проползши под любой книгой любого попитра, они рожают. Не зачав: беспорочно.

Но если притянуться ещё на строку выше, читаем: «И не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев». Это и есть награда: не долететь.

Но что там, за минаретами Шир-дора. Как будто первая проступь рассвета. Да, яснее выконтурились спады камня. Где-то вдалеке заревел ишак. Дверь чайханы открылась. Заспанный чайханщик с ведром в руке. Он опускает ведро в арык и выплёскивает из него поперёк улицы. Ещё и ещё. Надо предупредить проснувшиеся подошвы и копыта и прибить пыль к земле. Встаю и разминаю затёкшие ноги. Пора. По диагонали через площадь. На карнизе медресе копошится стайка молодых ворон. Это не воронята мысли, а так, просто проснувшаяся воронова детвора. И всё вообще просто.

Вхожу в арчатую дверь экскурсбазы.

## МАЗАРОВАЗАРЬЕ

Большинство городов страны, прислоненной к Памирам, – из двух частей: средне-азиатской и посредственно-европейской. Последняя всегда из последнего тянется быть не последней, не хуже европейских согородов. Но обычно ей это плохо удаётся: на книжных витринах прожелклые от солнца новинки ещё нэповских времён; музеи, иной раз напоминающие физический кабинет довоенной гимназии, с его ржавыми магдебургскими полушариями и набором батавских слёзок; и таков, например, музей естествознания на улице Энгельса в Самарканде; двухэтажные «центральные почты», стоящие с видом небоскрёбов. Но если всхожесть домов на здешней почве пока не велика, то деревья зато растут здесь буйно. Прекрасны просторные парки европейской половины Самарканда и длинные, вдоль шеренг домов – аллеи ташкентских белокожих тополей.